

Бойкот

I

Школа – прямая, как ветер, швыряющий снег. Он бьёт в плотное, бледное, покрасневшее – лицо. Школа жадно засасывает стылый воздух, и двери глухо, с болью бьются о косяк. Писательский район тихо заползает в школу. Тише дети, тише, угомонитесь. Из обкомовских девятиэтажек – своих – знают наизусть. «Анечка, как дела у папы?». «Юлечка, Олечка, Игорёша». Обкомовские... Что за слово, цвет у них такой, запах? Мама в школу не ходит, мама работает. «А голову ты дома не забыла? Почему галстук как попало завязан? Наташа, ты же девочка!».

До школы, Наташе нужно дойти до школы. Спустись к речке, по мосту пройди сквозь разреженную в тумане грязь. Взберись на вязкую горку, ботинками в разжёванное месиво. Держись крепко за ограды вечно падающих, чужих домов. Выстиранное небо – не может быть, чтобы снег такой оттуда – это плюются оголённые вязы, расхлябанные, как телефонные провода. Ботинки тяжелеют с каждым снежным шагом, несёшь шаги с собой и видишь, как набухает окаёмкой коричневая глиняная туча. Голова спит, предательница. Ничем не растормошить её до самого обеда. Ни снегом из вдруг, ни спятившим ветром, никакой кожи не хватит. До самых костей додул, а всё бы в сон. Ещё два раза по столько же. Без варежек, околёвшими руками можно мерить путь. Ощущать его бугристость и длину ветром между шелушавых пальцев. Будто и вправду руки вымесили снегом слюдяного цвета гуталин, но сами остались покалывающе чистыми. И обратно. За спиной портфель, вниз – домой, на тебе, ветер, неси куда хочешь отсюда! У отца на работе обугленные вязовые ветки выписывают соляркой дизельным моторам диагнозы. Ветки вычерчивают каракули на его дыхании – услышит потом «раклехьких». Рассмеётся: «Когда рак на

горе свиснет с сигаркой в зубах». Папа много смеется два раза в месяц. Папа видит много дорог. Завтра забираться на бугор, опять до девятиэтажки, а потом ещё столько же. А что было раньше, школа или девятиэтажка? Если пожар – все лестницы свалятся. Есть ли у девятиэтажки ещё лестницы? Кто спасёт её? Всемогущий обкомовский вертолёт спрятан на крыше. На случай.

Не продравший глаза свет фонаря кружит белой мошкаррой вокруг, гляди так и завалится. «Постучи о тряпку, ещё раз постучи, Наташа, сколько грязи на ботинках! Пока дойдёшь до раздевалки всю школу замажешь». Серая тряпка, огрубевшая от нитей, сложившихся в квадратики от ветхости, намотана на палку, как на факел. Мокнет в воде с нераскисшими камушками. Как тут вымоешь-то, одни разводы. И глина наворачивается от воды в подошву, как у гончара.

От школы холоднее, чем от снега ветреного на улице. Глаза закрываются, так бы и зарыться в эти пальто, притвориться ими. Под вечер день похож на серую, вымоченную в глиняной жиже тряпку, а вокруг вата, разбросанная великовозрастным дураком Ромкой с соседней улицы. Ромка мечтает быть солдатом и защищать всех нас. По ботинкам сразу видно, кто откуда пришёл. Колбаса, которую обкомовские дети таскали в школу, как будто наполняла зелёноватые стены уютным, плотным запахом. Тянуло из учительской. А может, и не было запаха. В школьном коридоре ничем не пахло. Хлорка вытягивала всё.

В школу при РОНО Наташу отдали во втором классе, после интерната, из-за плохого манту. Из-за манты её отводили на целую неделю спать не дома и болеть вместе с другими – за забором, и в первый месяц она выучилась сбегать, если брат забывал приходить за ней в пятницу. Когда манта отступила и разрешила пойти в настоящую школу, у Наташи иногда стягивало дыхание от счастья – задышишь и школа пропадёт, но всё равно можно ещё долго глаз не открывать. «Не жмурься, от этого веснушки растут», – толкал её Пашка.

В воздухе носилась непохожесть: белизна манжетиков, аккуратность заплетённых кос, против грязи на ботинках и обветренных рук и щек, промокло-

растрёпанного вида. Все были равны, но не совсем. От девочек в настоящей школе, от них пахло красивыми словами: бананы, апельсины, берёзки, Москва... Про ставропольские сосиски и сметану, которые Наташа пробовала у тёти, им неинтересно, обычно.

Но Свету хотелось слушать как учительницу. Было в ней что-то тёткинское, не по возрасту, от того смешное - но искреннее - опекать, журить. Говорила, наклоня голову, и, если не соглашалась, то делала большие паузы, сощурившись, мотала головой. Выпрямляясь, дотошно «раскладывала всё по полочкам». «Пока ты не влилась в наш коллектив, я возьму над тобой шефство». Так не шло это к её румяным, горящим щекам, к её выбивавшимся из косы пушистым волосам, которые она без конца приглаживала. Жила Света в девятиэтажке.

- А мне дядя из Москвы привез бананы, едим их уже день третий ...

- Ба-на-ны?!

Она видела их только в мультиках, странно-жёлтые, похожие на скатанное крашенное тесто.

- А какие они на вкус, бананы? Как тесто?

- Ну нет, совсем не тесто, они такие... сладкие.

- А как пахнут? А жёлтое тоже нужно есть? Почему жёлтое висит вот так, как кукла из одуванчика?

- Пахнут... как бананы, как ещё они могут пахнуть. Жёлтое никто не ест никогда - это кожура. Банан нужно чистить, но сначала сверху отламываешь немножко, чтобы третинку снять, потом следующую и ещё одну. Но не полностью, оставляешь, чтобы за ножку держать. И как ты ешь, продолжаешь чистить, пока не доешь совсем.

Наташа почувствовала запах переспелых яблок, и уже будто съела банан, в животе были приятная сытость и тепло.

- Да, а банан, он не может растаять? Если так долго держать? Сразу нужно есть?

- Что за глупость! Нет, конечно, - это фрукт, ну как... Ладно уж, пойдём, дам я тебе банан!

По ступенькам сколько не поднимайся, ещё три этажа идти. Асфальтовая лента с нарощенными бугорками имитирует усилие. Усилия нет, как и нет ступенек, только предощущение неведомого, угадывающегося всё сильнее вкуса, с каждым подъемом ноги. Одним бананом можно всех накормить: и маму с папой, и Ирку, и Пашку - она его принесёт от Светы, из девятиэтажки. Дынево-яблочко-сочное, но другое, причудливо сложенное из знакомых вкусов и запахов, замешанных в жёлто-гуашевом цвете кожуры, чуть отпечатавшемся на мякоти. Время замедлило идти и пришло снова, когда банан - Наташа его съела. Не весь, маленький кусочек у самой ножки спрятанностью своей упрекал, что нести такой домой - стыдно, стыдно очень. И исчез. Шкорку такую не выкинешь, даже если заставят. От девятиэтажки ещё два раза по столько же. Портфель пропах бананом, пропах весь воздух вокруг, и в тёплом тропическом облаке, укутанная в махровые банановые шкорки, как в одеяла, она не замечала ни грязи, ни зимы, ни родного города.

Уже дома она увидела, что в портфеле лежало почерневшее, похожее на ломтик жаренного кабачка. Пашка учуял запах, только Наташа переступила порог, и вглядывался жадно. Он, кажется, понял. Говорить не стал, показал сестре разобиженное лицо и пообещал себе не разговаривать с ней три дня. Покрылся так, что от лампочного света вспыхнула медь его волос, потерялись белёсые брови. Обиделся, узнала Наташа. Смотрит осенью, пёстро опавшими листьями, но с тускло падающими дождями под вечер. А спросить-то и не спросит. Ничего, Паша, мы с мамой поедим в Москву, и будет столько бананов, сколько унесём. «Прости», - посмотрела она.

Тришка шестиглазая, на уроке замираются её зрачки, отражают класс кри-возеркально в линзах. История как мумия или и сама она – мумия, с восковым лицом, чужой мимикой выделаны её морщины. Главное высидеть и не нарушить течение сквозняков неаккуратным движением мысли. Её взглядом в кабинете натягивались невидимые струны – ходить к доске. Учителя говорили рисовать, и хотелось рисовать; они говорили петь, и хотелось петь. Музыка уносила в невесомое, подстраивала балки и леса, и школа стояла. Если стёкла выпадут от слишком разыгравшегося фортепиано, мы с учительницей будем обогревать школу, пока она рукой не соберёт голоса в пучок. Стройный и ладный, как она сама. Акварель шепчется с белизной листа. Нарисовать, чего не увидишь, и унести с собой. Вымазать пальцы смехом. Чем больше красок на листе, тем скорее закончится урок. Хоть не рисуй, а так хочется. Домики у моря подталкивают время. Ярчить солнце вымазанной кистью до дыры в листе опасно. Лист хрупкий. Карандашковые линии громки – не сотрёшь, не замажешь нарисованность лучей. Лист мокнет, и море рябится морем, ставшим ветром. И до самого дна лист мёрзнет вместе с пальцами. Море съедобное, как смородина. «Отряд Павлика Морозова, идём в столовую», – услышала Свету.

В столовой согревают запахи, даже если открыть все холодильники и налить ледяной борщ. Пусть он только пахнет домашними шумными ужинами. Папа дома и видит нас, а через него видно белым размеченные асфальтовые часы – считать, когда он вернётся снова. Папа говорит громко, а вечером поёт, собирается вся улица слушать красивого Ивана. Когда его глаза устало умасливаются, и волосы теряются в цвете дыма, он берёт на руки. «Ну что, Наталка, помнишь, как я сказку тебе рассказывал про Жил был и Жила была? Как там... Жил был и Жила была, так Жил был так дал Жила была, что Жила была только и жива была?». Зубы такие же маленькие, как и у меня. «Ну, а что ты мне ответила? Всем мужикам тогда на работе рассказал, какая дочка растёт – казачка. Чего ты голову прячешь? Помнишь, что ответила? А? А она мне говорит, пяти-

летняя, папа я тебе другую сказку расскажу: Жил был и Жила была, так Жила была так дала Жилу былую, что Жил был только и жив был. Ты у меня казак, да?». Из подсобки перед столовой шёл сигаретный дым. Окно светлое, как тканевое, в морозных нитках. Голова ходит там по бороздкам. Столовая закончилась, и день почти тоже.

За школой стены заговорчески обступают пространства. Кирпичи тупо вглядываются в даль, надеясь отыскать ответы. Зачем они так стоят ровно друг к другу? Сколько им ещё заложенными в кладке быть, и ради чего? Снег подустал идти, и мы. Девочки вместе, вокруг, рядом прячут слова. Алёна обычно в классе оглядывается, ищет глаз. И сейчас движений мало, много беспокойного взгляда. Алёна бросила играть в куклы и придумала новое. «Я объявляю тебе бойкот», – слова посыпались и застучались в лицо. Какой бойкот, что это? «И вообще, ты больше не в нашем отряде. Только плакать не надо, Москва слезам не верит, поняла?». Последнее свалилось комом, укатывая смысл отдельных слов. И сама Москва против меня, и Москва объявила бойкот. Ушли быстро, как секунды уплывают на часах.

Бой-кот, бой-бой-бой. Кому? Мне? Значение слов никак не хотело вырисовываться. Но оставалась зеркальная односложность их лиц. Гул. Непонятно и бессмысленно слово прибывало к стенам домов, которым Наташа потеряла счёт. Что я сделала? Бой объявила и скользкая балка. Спустишься – два раза упадёшь, легче сесть на портфель, и вниз – промокнут тетради. Ну их, эти тетради, если объявили бойкот! Мокрые ресницы приклеиваются к нижним, всё расплывается перед глазами, только отпечатки дороги по памяти. Ещё столько же, а потом по мосту, темному мосту с погасшими фонарями, куда не добивал оконный свет домов. Тут и остаться. Как теперь с бойкотом идти в школу? Куда положить его? Осадок накипью оседал внутри. Я не хочу бойкот. Запудренный пустырь завыл, здесь не будет слышно. Вдруг стало растерянно спокойно, хоть ложись на снег и засыпай. А завтра ничего не будет – ни красок, ни музыки. Пу-

стырь окрасился в тепло, по снегу плыть, как по морю. Алёна, наверное, уже дома, пьёт чай с малиновым вареньем, ест бананы и смеётся. Бойкот, вот вам бойкот! Поняли! Наташа вскочила, снег приятно забивался в сапоги и за шиворот, отрезвляя кипятком прикосновений. Она раскидывала его ногами, как будто пробивала стену. Снег разлетался и послушно забывался ветром.

Утром в школе темно, девочки в классе смотрели виновато. Слово – это бойкот. Бумажное и надуманное слово. Она не спала ночь, и всё вчерашнее подвысохло. Жила была как дала Жил был. Жила была как дала Жил был. Они искали, смотрели на Наташу, что изменилось – ей объявили бойкот, что с её волосами и глазами, что происходит – после него?». У парты стояли стайкой. Была и Света. Обида подтолкнула, и Наташа сказала что-то невнятно, да и неважно было уже:

– Алёна она, она неправильно, зачем она так сделала. Я ей ничего, и мы с вами не ссорились даже совсем. Это же... неправильно.

Света смотрела настороженно, за такое точно бы отчитали на линейке, она знала. Но все ровно молчали. И уже нечаянно, эхом Наташа услышала свой голос, как сгоряча:

– Вот если бы Алёне объявили бойкот, как ей было бы?

Света вспыхнула, она ответственна за всё, всегда и сразу.

– Так и надо, правильно. Хулиганам и нужно объявлять бойкот. Это мы, девочки, с вами объявим ей бойкот. Мы.

Домой шли вместе. «Я победила», – большими буквами гудело в голове. Этот бойкот сам вырвался, и как она его... объявила. Так ей и надо. Бойкот – это рикошет.

Наутро мама Алёны влетела в школу: «Алёна прибежала домой без пальто и без шапки! Слёзы, ревёт, сказать ничего не может. Слегла с температурой. Бормочет про бойкот какой-то. Я с бабкой оставила. Это новенькая ваша подбила, откуда она? С речки? Объявить бойкот, да что это такое! Да это беспре-

дел, я куда ребёнка отдала? Алёна, что она ей сделала, она ничего, ревёт, говорит бойкот, в школу не пойду. И подружки её. Кто у вас тут учится, колхозня одна! Где они?».

Наташа спряталась в раздевалке, закрывшись пальто. Слышно было, как если бы говорили ей и смотрели прямо. Она тоже? В голове у Наташи Алёна шла по её дорогам, Алёне также её слёзы, её морозом кололи глаза, и также больно в неё бился теперь бойкот. Он казался наваждением, иностранным шпионом. А Алёна живая, и она своим сбивающимся дыханием грела холодный воздух, без шапки, бежала без пальто. На секунду она заскучала по ней. Только Алёна знает, что такое бойкот и безучастный сугробий воздух. Они знают вместе.